

2

30 декабря 2003 года, вторник.
Мы навестили Кинтану в реанимации
на шестом этаже “Бет Изрэил норт”.
Вернулись домой.

Обсудили, сходить куда-нибудь на ужин или поесть
дома.

Я сказала, что растоплю камин и мы поужинаем
дома.

Я растопила камин, начала готовить ужин, спро-
сила Джона, хочет ли он выпить.

Я принесла ему скотч в гостиную, он сидел
в кресле у камина, как обычно, и читал.

Он читал книгу Дэвида Фромкина, сигнальный
экземпляр — “Последнее лето Европы: кто начал Ве-
ликую войну в 1914 году?”.

Я закончила приготовления к ужину, накрыла
стол в гостиной: когда мы ели дома, мы устраива-
лись там, чтобы смотреть на огонь. Замечаю, что
я все время упоминаю огонь — это потому, что
огонь был важен для нас обоих. Я выросла в Кали-
форнии, потом мы прожили там двадцать четыре
года вместе с Джоном, а в Калифорнии мы обогре-

вали дом, растапливая камин. Мы топили даже летними вечерами, если напал туман. Огонь говорил, что мы дома, очертили себя кругом, проведем ночь в безопасности. Я зажгла свечи. Джон попросил еще порцию скотча перед ужином. Я принесла ему. Мы сели за стол. Я смешивала салат, сосредоточилась на этом.

Джон разговаривал со мной и вдруг умолк.

В какой-то момент, за секунды или за минуту до того, как умолкнуть, он спросил меня, какой скотч я налила ему во второй раз — односолодовый? Я ответила: нет, тот же самый, что и в первый раз.

— Это хорошо, — сказал он, — не знаю почему, но я предпочитаю их не смешивать.

В другой момент в эти секунды или в эту минуту он рассуждал о том, как Первая мировая война оказалась критическим событием, из которого истекает все, что произошло далее в двадцатом веке.

И я понятия не имею, о чем мы говорили — о скотче или о Первой мировой войне — в тот момент, когда он вдруг умолк.

Помню только, что оглянулась на него. Левая его рука задралась вверх, а сам он неподвижно осел на стуле. Сперва я подумала, это неуклюжая шутка, попытка справиться с тяжелым днем.

Помню, как сказала ему:

— Перестань.

Когда он не ответил, я решила, что он начал есть и подавился. Помню, как пыталась сдвинуть его к краю стула, чтобы надавить на диафрагму и вытолкнуть застрявший кусок. Помню ощущение неподъемного его веса, когда Джон рухнул впе-

ред, сначала грудью на стол, потом на пол. В кухне возле телефона была приклеена карточка с номерами “скорой” Пресвитерианской больницы Нью-Йорка. Я не потому приклеила там карточку, что предвосхитила подобный момент. Я приклеила эти номера рядом с телефоном на случай, если “скорая” понадобится кому-то из соседей.

Кому-то другому.

Я набрала первый номер. Оператор спросила, дышит ли он. Выезжайте скорее, ответила я. Когда прибыли парамедики, я попыталась объяснить им, что произошло, но не успела договорить, как они уже превратили ту часть гостиной, где упал Джон, в реанимационное отделение. Один из них (из троих или четвертых, даже час спустя я не сумела их пересчитать) связался с больницей и обсуждал кардиограмму, которую они, по-видимому, уже передавали. Другой готовил первый или второй из множества предстоящих уколов (Адреналин? Лидокаин? Проккаиамид? Названия приходили на ум, но я понятия не имела, откуда они брались). Помню, я сказала, что он мог подавиться. Одним движением пальца моя теория была опровергнута: дыхательные пути свободны. Теперь они пустили в ход дефибрилятор, пытались восстановить ритм. Добились чего-то похожего на сердцебиение (или я подумала, что добились, мы все молчали, и произошел резкий скачок), не сумели его удержать и начали заново.

— Фиб продолжается, — помню, сказал один из них в телефонную трубку.

— Ви-фиб, — уточнил на следующее утро кардиолог Джона, позвонивший из Нантакета. — Навер-

ное, они говорили о ви-фибриляции, “Ви” значит “вентрикулярная”, желудочковая.

Возможно, они говорили “ви-фиб”, а возможно, и нет. Фибрилляция предсердий не приводит или не всегда приводит к остановке сердца. Фибрилляция желудочков приводит. Наверное, это была желудочковая.

Помню, как напряженно пыталась сообразить, что будет дальше. Поскольку в гостиной работала скорая помощь, следующим логичным шагом представлялась поездка в больницу. Мне пришло в голову, что вот-вот решат везти его в больницу, а я не готова. Нет под рукой того, что надо взять. Я засуечусь, и меня оставят дома. Я нашла сумочку, связку ключей и выписку из медицинской карты Джона. Когда я вернулась в гостиную, медики смотрели на монитор компьютера, который они установили на полу. Мне монитора не было видно, поэтому я стала следить за выражением их лиц. Помню, как двое переглянулись. Решение ехать в больницу было принято мгновенно. Я шла за ними до лифта, спросила, могу ли поехать вместе с Джоном. Они ответили, что сначала спустят каталку. А я могу сесть во вторую машину. Один из медиков подождал вместе со мной, пока лифт не поднялся снова на мой этаж. Когда мы сели во вторую машину, первая, с каталкой, уже отъезжала. От нас до того филиала Пресвитерианской больницы, что прежде был просто Больницей Нью-Йорка, — шесть перекрестков. Не помню, включалась ли сирена. Не помню, много ли было машин. Когда мы подъехали к входу, предназначенному для экстренных случаев, каталка уже ис-

чезала внутри здания. На подъездной дорожке ждал какой-то мужчина. Все вокруг были в медицинских халатах. Он нет.

— Это супруга? — спросил он водителя, а затем обернулся ко мне: — Я ваш соцработник, — сказал он, и, должно быть, тогда я уже поняла.

“Я открыла дверь, увидела мужчину в полевой форме и все поняла. Я тут же все поняла” — так говорит в документальном фильме канала НВО мать девятнадцатилетнего парня, убитого бомбой в Киркуке. Боб Херберт приводит ее слова в утреннем выпуске “Нью-Йорк таймс” от 12 ноября 2004 года. “Но я подумала: пока я его не впущу, он не сможет мне это сказать. И тогда это — это как будто бы и не случилось. Он все твердил: «Мэм, я должен войти», а я снова и снова отвечала ему: «Извините, я вас не впущу»”.

Читая это за завтраком почти через одиннадцать месяцев после той ночи со “скорой” и соцработником, я опознала собственный ход мыслей.

В отделении экстренной помощи я видела, как каталку завозят в небольшую палату. За ней следовало еще несколько человек в халатах. Кто-то велел мне подождать в приемной. Я послушалась. Там стояла очередь на оформление госпитализации. Ожидание в очереди казалось разумным и конструктивным. Ожидание в очереди означало, что еще есть время все уладить. У меня в сумочке лежали копии страховых полисов, обычно мы имели дело не с этим филиалом больницы — это был филиал Пресви-

терианской больницы имени Корнелла, а мне был знаком медцентр при Колумбийском университете на пересечении Бродвея и 168-й, по меньшей мере в двадцати минутах езды, слишком долго для такого рода экстренного случая, но я разберусь с этой незнакомой больницей, я пригожусь, сумею все устроить. Организую перевод в тот филиал, как только Джон будет стабилен. Я сосредоточилась на подробностях предстоящего переезда в филиал при Колумбийском университете (понадобится койка с аппаратурой, а потом я добьюсь, чтобы и Кинтану перевели туда же: в ту ночь, когда ее доставили в “Бет Изрэил норт”, я записала на карточке номера пейджеров нескольких врачей из филиала при Колумбийском университете, тот или другой поможет все это осуществить), и тут вернулся соцработник и увел меня из очереди на оформление бумаг в пустую комнату в стороне от приемного покоя.

— Вам лучше подождать здесь, — сказал он.

Я ждала. Помещение было холодным, или это я мерзла.

Гадала, сколько времени прошло с того момента, как я позвонила в “скорую”, и до прибытия парамедиков. По ощущениям, это произошло мгновенно (“соринка в зенице Господней”, такая фраза пришла мне на ум в комнатке около приемного покоя), но на самом деле потребовалось как минимум несколько минут.

На доске в моем кабинете у меня была прикреплена розовая каталожная карточка, на которой я (это потребовалось в ходе работы над фильмом) напечатала фразу из медицинского справочника Мерка

о том, как долго мозг может продержаться без кислорода. В этом помещении возле приемного покоя розовая каталожная карточка настигла меня: “Кислородное голодание тканей продолжительностью от 4 до 6 минут может привести к необратимому повреждению мозга или смерти”. Я еще уговаривала себя, что неверно запомнила эту фразу, когда снова явился социальный работник. С ним был человек, которого он представил: “Это врач вашего мужа”. Последовало молчание.

— Он умер, да? — услышала я свой вопрос, обращенный к врачу.

Врач оглянулся на соцработника.

— Все в порядке, — сказал социальный работник. — Она крепкий орешек.

Они отвели меня в занавешенную каморку, где лежал Джон. Теперь он был один. Спросили меня, нужен ли священник. Я сказала, нужен. Пришел священник, произнес полагающиеся слова. Я поблагодарила. Мне отдали серебряный зажим с водительскими правами и кредитными карточками Джона. Отдали мелочь, какая нашлась в его карманах. Отдали мне его часы. Отдали мне его мобильный телефон. Отдали пластиковый пакет, в котором, как они сказали, была сложена его одежда. Я поблагодарила. Соцработник спросил, чем еще он может мне помочь. Я попросила посадить меня в такси. Он это сделал. Я поблагодарила.

— У вас есть деньги на дорогу? — спросил он.

Я сказала, есть. Крепкий орешек.

Когда я вошла в квартиру и увидела куртку Джона и шарф — они так и валялись на стуле, где

он их бросил, когда мы приехали домой, навестив Кинтану в “Бет Изрэил норт” (красный шарф из кашемира, патагонская ветровка, ее носили прежде члены съемочной команды фильма “Близко к сердцу”¹), я подумала: а как ведут себя те, кто не крепкий орешек? Что им позволено? Впасть в истерику? Попросить успокоительное? Вопить?

Помню, как подумала, что это надо будет обсудить с Джоном.

Я всё и всегда обсуждала с Джоном.

Поскольку оба мы писатели и оба работали дома, наши дни были наполнены голосами друг друга.

Я не всегда соглашалась с ним, и он не всегда соглашался со мной, но мы доверяли друг другу. В любой ситуации наши цели и интересы совпадали. Многие люди считали, раз порой одному из нас, а порой другому достается более крупный аванс или лучшие отзывы, то между нами должна существовать “конкуренция” и личная жизнь превращается в минное поле профессиональной ревности и обид. Это было так далеко от истины, что подобная распространенная ошибка наводила на мысль о пробелах в популярном представлении о браке.

И это — еще одна тема, которую мы обсуждали вдвоем.

В квартире, когда я в ту ночь вернулась одна из Больницы Нью-Йорка, мне запомнилась тишина.

¹ Фильм “Близко к сердцу” был снят Джоном Эвнетом в 1996 г. по сценарию Джоан Дидион и Джона Грегори Данна.

В пластиковом пакете, который мне выдали в больнице, — вельветовые брюки, шерстяная рубашка, ремень и, кажется, больше ничего. Штанины вельветовых брюк были разрезаны, должно быть, фельдшерами “скорой”. На рубашке кровь. Ремень, плетенный из косичек. Помню, как подключила его мобильник к зарядке на его столе. Помню, как убрала его серебряный зажим в коробку в спальне, где мы хранили паспорта, свидетельства о рождении и удостоверения присяжных. Теперь я смотрю на этот зажим и вижу, что у Джона было при себе: водительское удостоверение штата Нью-Йорк, действительное до 25 мая 2004 года; карточка “Чейз АТМ”, карточка “Американ экспресс”, мастеркард “Уэллс Фарго”, абонемент музея Метрополитен, членский билет Гильдии писателей американского Запада (в сезон перед присуждением “Оскара” этот билет давал право бесплатно посещать кинотеатр — должно быть, Джон побывал в кино, только я этого не помнила); медицинский полис, проездной и карточка “Медтроник”: “Мне имплантирован водитель ритма Карра 900 SR” с серийным номером устройства, телефоном врача, который его установил, и пометкой: “Дата имплантации: 03 июня 2003 г.”. Помню, как сложила деньги из его кармана вместе с деньгами из своей сумочки, расправляя купюры, сосредоточенно соединяя двадцатки с двадцатками, десятки с десятками, пятерки с пятерками, однодолларовые бумажки с однодолларовыми. Помню, как делая это, подумала: вот он увидит, что я со всем справляюсь.